

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ЭВОЛЮЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПОРЯДКОВ¹

Б. А. Ерзнкян

Социальные порядки, или модели общественной организации, структурирующие взаимодействия людей и их групп, различаются в пространственно-временном отношении. Эволюция социальных порядков сопровождается изменениями в институциональной системе; динамика этих процессов взаимосвязана, и не всегда ясно, что чем порождено. Среди институциональных факторов, определяющих облик социальных порядков, особое место занимает язык; значимы также неязыковые факторы: религия, государство, право и др. Сделан вывод о том, что переход от порядков ограниченного доступа к порядкам открытого доступа происходит по схеме «от общности к частности», справедливой применительно ко всем аспектам институционального развития.

1. Социальные порядки и институциональные факторы их эволюции

Социальные порядки — это модели организации социума, структурирующие общественные взаимодействия. Ключевую роль в подобном структурировании играют институты, которые, упорядочивая отношения людей и их организации, способствуют созданию политической, экономической, религиозной и военной власти и одновременно концентрации в руках отдельных людей контроля над ресурсами и социальными функциями, ограничивая тем самым использование с помощью формирования соответствующих стимулов [24, с. 32–33]. В работах Д. Норта, Дж. Уоллиса, С. Уэбба, Б. Вайнгаста, посвященных изучению социальных порядков, важное место отводится их эволюции: от примитивных порядков — через образование порядков ограниченного доступа — к возникновению порядков открытого доступа (которые установились по историческим мер-

кам совсем недавно — два-три столетия тому назад — главным образом в Северной Америке и Западной Европе) [47, 4].

Эти авторы (в числе других) в своих исследованиях уделяют пристальное внимание, помимо собственно характеристик порядков ограниченного и открытого доступа, логике перехода — от порядков ограниченных к открытым порядкам, что является в условиях глобализации и распада социалистической системы весьма актуальной и в то же время неоднозначной и дискуссионной темой. В фокусе этих исследований, помещаемых зачастую в контекст возрастания человеческих знаний и базирующихся на обширной литературе по истории, политической науке, экономике, антропологии, экономике и общественным наукам — изменение структуры взаимодействий людей (индивидуальных и коллективных экономических агентов) и его влияния на институциональные и прочие условия их существования, характеризующиеся ярко выраженной национальной спецификой.

На эффективность функционирования и (или) характер проявления социальных поряд-

¹ Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 11-06-00348а).

ков могут оказывать воздействие факторы различной природы, среди которых (разграничение отчасти условное):

а) естественные факторы, данные человеку самой природой (природно-климатические, географические, биологические);

б) искусственные факторы, созданные человеком и передающиеся из поколения в поколения (культурные, технологические, религиозные);

в) искусственно конструируемые человеком (как правило, организованными группами лиц) факторы оказания целенаправленного воздействия на социальные порядки (политические, идеологические, управленческие);

г) факторы смешанной — естественной и конвенциональной — природы (язык) и пр.

Все эти факторы задают ограничительные рамки для действия (и взаимодействия) людей, но рамки рамкам — рознь: естественные факторы обычно принимаются за данность, в отличие от остальных, институциональных, по своей сути факторов, которые могут стать объектом (целенаправленных, но отнюдь не произвольных) воздействий.

Важность институциональных факторов становится особенно очевидна в ситуации переходного процесса: то, что в стабильном состоянии принимается за данность, перестает быть таковой при переходе. О необходимости акцентирования внимания в такой ситуации преимущественно на институциональных факторах свидетельствуют, к примеру, высказанные по поводу (поиска путей) стабилизации экономики России слова Г. Б. Клейнера: «На первое место должны быть поставлены именно институты, способствующие достижению и поддержанию» движения по пути к наступлению «более или менее долгосрочной фазы относительно устойчивого развития экономики страны» [14, с. 6].

К институциональным факторам, определяющим облик социальных порядков, относятся: язык, религия, государственное устройство, правовая система, доминирующий тип общества, характер экономических отношений и пр. Их целесообразно — следуя логике данной статьи — подразделить на две группы факторов, специфику которых рассмотрим ниже, а именно: языковую и неязыковую.

Их рассмотрение начнем с языковых факторов.

2. Языковая группа институциональных факторов

Характер языковой группы институциональных факторов весьма специфичен, и обусловлен он сложным переплетением в языке биологического и социального начал, заложенными в человеке (наследуемыми) способностями к усвоению языка и конвенциональной природой его употребления (посредством механизма обучения) в определенных языковых сообществах.

Важность языковой группы факторов обусловлена тем, что «возможно, язык воздействует на наше поведение и в свою очередь формируется под его влиянием. Но и язык, и наше поведение меняются также в силу внутренней логики своего развития». При этом даже если «тезис о взаимовлиянии языка и экономики не подтвердится — что ж, отрицательный результат тоже результат. Но... [он] обязательно найдет подтверждение, но какова будет интерпретация этого тезиса — вот вопрос, на который следует дать ответ» [11, с. 142].

Независимо от причинной обусловленности взаимовлияния языка и экономики или поведения экономических агентов, важно обратить внимание на следующее свойство языка: он, подобно прочим общественным институтам, не передается по наследству, но в отличие от них сама возможность овладения языком как таковым — и мы придерживаемся такой, не всеми разделяемой, точки зрения — наследственна. Именно это и позволяет говорить о языке как особом человеческом и общественном институте. Язык и письменность (вместе с этическими ценностями) суть «непременное условие общественной жизни людей в целом» [37, с. 337].

В табл. 1 представлены лингвистические функции языка, ознакомление с которыми, как нам представляется, позволит лучше уяснить специфику языкового фактора социальных порядков или изменений в моделях социального устройства и в перекликающихся с ними изменений в обслуживающем общество языке.

Для передачи смысла двух низших и одной высшей функций К. Бюлер использовал термины «экспрессия» (для выражения внутреннего состояния говорящего), «апелляция» («сигнализация») (для обращения к слушателю) и «репрезентация» (для представления предметов и ситуаций) [3, с. 34]. К этим функциям К. Поппер добавил еще одну — высшую — функцию: аргументативную или критическую, хотя высших функций может быть и больше, и они могут включать такие функции, как «пред-

Таблица 1

Лингвистические функции, согласно квалификации Бюлера и Поппера

Функции языка по их месту в иерархии	Функции языка по их смыслу	Генетическая обусловленность функции
Высшие лингвистические функции (основание мира 3 по Попперу)	Аргументативная/критическая (по Попперу) Дескриптивная/информативная /репрезентативная (по Бюлеру)	Незначительная Средней значительности
Низшие лингвистические функции	Коммуникативная/апелляционная /сигнализирующая (по Бюлеру) Экспрессивная (по Бюлеру)	Значительная Значительная

Адаптировано по: [28, с. 132].

писания, поучения, побуждения, восхваления и унижения» [28, с. 133].

Все функции Бюлера генетически обусловлены, при этом низшие — в большей мере, чем дескриптивная функция. В отличие от них, функция Поппера, или «четвертая функция», «пока находится в развитии и не так закреплена в нашей наследственности», хотя для нее, вне всякого сомнения, как считает Поппер, «имеется значительный генетический базис» [28, с. 140].

Чтобы не было путаницы в отношении генетики, традиции и языка, отметим, вслед за Поппером, что «никакой отдельный человеческий язык не передается по наследству: каждый язык и каждая грамматика закреплены традицией», иначе говоря, они институциональны по своей природе. Но что следует особо подчеркнуть — так это то, что «желание, нужда, цель и способность или навык, необходимые для овладения грамматикой, все наследственны», ибо «мы наследуем только возможность — но и это уже очень много». Вдобавок, «язык кажется только одним, единственным из наших экзосоматических инструментов, имеющих генетическую основу» [28, с. 138].

Эта мысль находит подтверждение у Фрэнсиса Фукуямы, который пытается согласовать социально-культурный аспект человеческого существования с генетикой и биологией: природа человека такова, что он «рождается с уже существующими когнитивными структурами» и, добавим, «соответствующему возрасту способностями к обучению» [36, с. 212].

Под влиянием, по всей видимости, идей Ноэма Хомского (в отношении трансформационной грамматики, языковой способности и языковой активности, разграничения поверхностных и глубинных структур), он подчеркивает универсальный характер определяемых «лингвистическими зонами новой коры головного мозга» глубинных языковых структур при бесконечном разнообразии (поверхностных структур) человеческих языков. Подобно

языку, «человеческие культуры, вероятно, отражают общие социальные потребности, определяемые не культурой, а биологией». Из этого следует, что для адекватного описания человеческой природы, а стало быть, и особенностей поведения экономических агентов, следует учесть генетические (заложенные в виде склонностей или предрасположенностей), так и культурные (закрепляемые посредством механизма обучения) факторы [36, с. 216].

В то же время, в отличие от Хомского (в роли не выдающегося лингвиста, а ученого широкого профиля и политического деятеля — яростного критика неолиберализма и глобального порядка, ставящего прибыль выше людей и игнорирующих принципы сотрудничества, равенства, самоуправления и индивидуальной свободы [39]), Фукуяма не столь категоричен. В развитии общества он выделяет два параллельных идущих процесса: 1) в политической и экономической сфере процесс является прогрессивным и линейным; 2) в социальной и моральной сфере линейность дает сбой: история предстает цикличной, а социальный капитал — то убывает, то возрастает.

Таким образом, наличие или отсутствие линейности зависит от сферы или аспекта рассмотрения, что же касается оценки прогрессивного характера политэкономической сферы, то она однозначна: выбор — как результат, напомним, длительной эволюции конкретных стран — либеральной демократии видится Фукуяме кульминацией истории и единственно жизнеспособным решением для технологически развитых стран [36, с. 384].

Элементами концептуальных рамок для исследования социальных порядков выступают насилие, организации, институты и убеждения. Поскольку книга Норта и соавторов озаглавлена как «Насилие и социальные порядки», можно предположить, что одному из этих четырех элементов отдается большее предпочтение, чем остальным [24]. У книги есть еще и подзаголовок: «Концептуальные рамки для интер-

претации письменной истории человечества». Письменность в данном случае, как явствует из ознакомления с книгой, служит лишь средством для извлечения сведений с целью последующего вынесения суждений о насилии, организациях, институтах и убеждениях как основных элементах, из которых конструируются социальные порядки. На наш взгляд, анализ имеющихся — а они, как мы покажем ниже, имеются — изменений в самой структуре письменности может дать немалую информацию для лучшего и более полного понимания семантического содержания письменных источников. Отсюда наш интерес и концентрация нашей мысли на языке как носителе происходящих на протяжении истории — письменной, хотя понятие языка шире и не сводится исключительно к письму и письменности, — человечества политических и экономических изменений.

Какие черты — общие для языковых и социальных изменений — мы видим в логике превращения порядков ограниченного доступа в порядки открытого доступа? Основное, что бросается в глаза, это деконструкция старых порядков, их (аналитическое) расчленение, сопровождаемое при этом синтезом, конструированием новых. В языке это выражается в деконструкции старого строя и замене его новым, или же — если заменить латинское слово деконструкция его греческим аналогом «анализ» — имеет место разрушение старого (синтетического) строя с установлением нового — аналитического — строя языка.

Но как может существовать разрушенный язык? Только при условии восполнения утраченных элементов таковыми, которые способны осуществить выполнение необходимых для функционирования языка функций. Для справки: термин этот позаимствован у Жака Дерриды, которым он пользуется применительно к структурному правилу, игре, порядку, цепи, структуре, системе, закону и прочим понятиям, имеющим отношение к идее восполнения [10, с. 27]. Такие элементы, призванные восполнить то, что было утрачено языком, в новом — аналитическом — строе языка суть предлоги, служебные слова и пр. В социальных порядках роль предлогов, служебных слов и пр. выполняют институты, без которых порядки открытого доступа обречены: взамен ожидаемой свободы в политике и процветания в экономике в результате и образовавшегося институционального вакуума (или институционального нигилизма) может наступить (вернуться) политическая несвобода и экономическая дегенерация.

3. Соотношение языковых и неязыковых институциональных факторов

Интерес представляет не только выяснение того, как соотносятся лингвистические и нелингвистические изменения, но и выявление наличия (или отсутствия) между ними причинно-следственных связей. В своей интерпретации социально-экономической эволюции и лингвистических изменений Людвиг фон Мизес, говоря об исчезновении санскрита, латыни и прочих, ныне мертвых, языков («смерть старого языка и рождение нового были результатом медленной, мирной эволюции»), подчеркивает, что «во многих случаях лингвистические изменения были следствием политических и военных событий» [22, с. 166].

Размышления Мизеса об эволюции языка в целом, как нам представляется, хорошо согласуются с достижениями современной теоретической лингвистики и в то же время представляют интерес для понимания эволюции социальных порядков. «Язык, — пишет Мизес, — это не просто совокупность фонетических знаков», а — и на это обращаем особое внимание — «инструмент мышления и деятельности», «словарь и грамматика» которого «приспособлены к складу ума индивидов, которым он служит». С точки зрения эволюции особенно важно то, что «живой язык — на котором разговаривают, пишут и читают живые люди — непрерывно изменяется в соответствии с изменениями, происходящими в умах тех, кто им пользуется. Язык, вышедший из употребления, является мертвым, потому что больше не изменяется. Он отражает склад ума давно исчезнувшего народа. Он бесполезен для людей другой эпохи, вне зависимости от того, являются ли они биологическими потомками тех, кто им когда-то пользовался, или просто считают себя их потомками» [22, с. 169].

Далее Мизес останавливается на терминологических проблемах, точнее, на одной проблеме, связанной с передачей абстрактных понятий. Именно они, по его мнению, а не термины, обозначающие осязаемые вещи, являются неразрешимой проблемой. «Будучи продуктом идеологических споров людей, их идей, касающихся проблем чистого знания и религии, правовых институтов, политической организации и экономической деятельности, эти термины отражают превратности их истории». Применительно к современной Ирландии его вывод, возможно и болезненный для чувств ирландцев-католиков, но лингвистически и социально точный, таков: «Тот, кто хочет воскресить мертвый язык, в сущно-

сти, должен из его фонетических элементов создать новый язык, словарь и синтаксис которого будет приспособлен к условиям нынешней эпохи, полностью отличной от условий далекого прошлого. Язык предков бесполезен для современных ирландцев. Законы современной Ирландии нельзя написать с помощью старого словаря...» [22, с. 169].

При всей справедливости сказанного Мизесом в отношении попыток возрождения языка предков к нему следует подходить с известной долей осторожности: то, что не сработало в Ирландии, сработало в Израиле — и на то были свои причины. Не вдаваясь в их рассмотрение, отметим только, что в результате уникального языкового сдвига иврит, переставший быть разговорным к концу II в. н. э. (оставаясь при этом языком религии), в конце XIX в. в Палестине вновь стал использоваться в разговорной речи, став после образования в 1948 г. Израиля государственным языком страны.

Возвращаясь к ирландскому языку, отметим, что его влияние — опосредованное английским или отраженное каким-то образом в нем — сказалось на языке американцев: многие лингвисты объясняют специфический характер современного американского английского именно влиянием ирландского варианта английского языка [26, с. 211]. При этом осевшие в массовом порядке преимущественно во второй половине XIX в. носители ирландского английского определили специфику развития не только американского английского, но и иных — неязыковых — институтов, укоренившихся в США.

4. Язык и мышление

Для выяснения значения языка для понимания (в дополнение к представленному Нортон и др. ракурсу рассмотрения) эволюции социальных порядков обратимся к гипотезе Сепира — Уорфа — гипотезе лингвистического детерминизма (язык определяет мировосприятие) и лингвистической относительности (различные языки — различные миры).

Основная мысль этой гипотезы была первоначально выражена Сепиром следующим образом: «Человеческое существо живет не в одном только объективном мире, не в одном только мире социальной деятельности, как это обычно считается. В значительной степени человек находится во власти конкретного языка, являющегося для данного общества средством выражения. Было бы заблуждением считать, что человек приспосабливается к действительности абсолютно без участия языка и что язык

есть просто случайное средство решения специфических проблем общения или мышления. На самом деле «реальный мир» в большой степени строится бессознательно, на основе языковых норм данной группы... Мы видим, слышим и воспринимаем действительность так, а не иначе, в значительной мере потому, что языковые нормы нашего общества предрасполагают к определенному выбору интерпретации» [30, с. 198].

Лингвисты (и не только) обычно различают два варианта гипотезы — сильный и слабый. Согласно сильному варианту, «язык определяет характер мышления и поведения» и «представляет собой как бы почву для мышления и философии». В менее жестком, слабом варианте гипотезы утверждается, что «некоторые аспекты языка могут предрасполагать к выбору человеком определенного способа мышления или поведения», детерминизм при этом ограничивается лишь указанием линии мышления или вида поведения, не более того [30, с. 200].

Поскольку сильный вариант, будучи соблазнительным, в то же время является опасным и чреватым увлечением поверхностными сравнениями и ложными выводами, более приемлемым представляется, к примеру, следующее, слабодетерминированное изложение сути гипотезы, принадлежащее Ч. Хоккетту: «Языки различаются не столько своей возможностью что-то выразить, сколько той относительной легкостью, с которой это может быть выражено. История западной логики и науки — это не история ученых, ослепленных или введенных в заблуждение специфической природой своего языка, а скорее история долгой и успешной борьбы с теми изначальными ограничениями, которые накладывает язык. Там, где не годится обычный разговорный язык, изобретаются специальные подсистемы (например, математический язык)». Но что особенно важно, так это то, что «даже система силлогизмов Аристотеля носит черты греческой языковой структуры» [30, с. 211].

Важно также то, что язык накладывает свой отпечаток на ощущение времени, и его восприятие может отличаться в зависимости от структуры языка. Ведь «наше интуитивное понимание времени, то есть, способ, которым мы „видим“ временные отношения, частично зависит от нашего языка, наших теорий и мифов, включенных в язык; иначе говоря — наша европейская интуиция времени в значительной степени обусловлена греческим происхождением нашей цивилизации с его акцентом на дискурсивное мышление» [28, с. 474]. Обращаем вни-

мание на частичную зависимость и обусловленность в значительной степени, что означает взвешенность авторов гипотезы, стремящихся зафиксировать связь языка и мироощущения, но отнюдь не абсолютизовавших ее.

Обратимся теперь к мышлению, которое — вне зависимости от того, является ли оно повседневым, философским, экономическим, математическим и пр. — вряд ли можно себе представить без языка.

По своему характеру мышление представляется выдающемуся математику XX столетия Герману Вейлю чем-то «довольно однородным и универсальным», что «не может быть разделено водонепроницаемыми переборками на такие отсеки, как мышление историческое, философское, математическое и другое». Это не значит, что нет отличий в способах мышления представителей разных наук или областей профессиональной деятельности, они существуют, но как «скорее внешние — некоторые специфические особенности и различия» [5, с. 6]. Эти особенности позволяют конкретизировать способы мышления применительно *inter alia* к социальным наукам вообще и институциональной экономике в частности.

С учетом сказанного обратимся к экономическому образу мышления, под которым зачастую — особенно в стандартных, по западному образцу склеенных, университетских учебниках — подразумевается мышление в духе неоклассической, или ортодоксальной, экономической теории. Так, например, поступает Пол Хейне, отмечающий, казалось бы, вполне справедливо и объективно, что «экономический образ мышления является предвзятым» [38, с. 27], в то же время приписывающий, что выглядит уже достаточно предвзято и субъективно, эту самую предвзятость экономической теории *per se*, а не одной лишь из ряда альтернативных теорий.

Уолтер Нил, напротив, таким состоянием дел не удовлетворяется и констатирует неоднородность экономической науки и, соответственно, образа мышления экономистов. Он делает разграничение между теориями — стандартной (правда, в весьма широком и специфическом смысле, включающем практически всю палитру течений экономической мысли) и институциональной, точнее, между их сторонниками, которых разделяет глубокая пропасть (*deep chasm*). В чем же причина такого расхождения и разграничения между теми, кого он называет стандартными экономистами, и теми, кто себя считает — в силу склада ума или интеллектуальной позиции — институционалистами? По

Нилу, причина в своей основе является скорее философской, чем идеологической или методологической [46]. Стандартное мышление свойственно философам (и не только профессиональным) естественного права (*natural law*), видящим мир экономики и социальных порядков через его призму, а именно: естественно устроенным, логически обоснованным, математически безупречно подкрепленным. Такая точка зрения идет вразрез с миропониманием институционалистов.

Во избежание недоразумений прежде чем продолжить, отметим, что под институционалистами Нил подразумевает, по всей видимости, сторонников «старой», или исходной, институциональной традиции в духе Густава Шмоллера, Джона Коммонса и др., поскольку «новые институционалисты» методологически и идеологически очень и очень близки экономистам-ортодоксам. Как справедливо отмечает В. М. Ефимов, «обычные обвинения со стороны новых институционалистов в адрес исходной институциональной экономики — описательность и отсутствие теории, а иногда и ангажированность — заимствованы ими от неоклассиков, от которых они ни по своим политическим воззрениям (либерализм), ни по методологическим пристрастиям (позитивизм)», практически не отличаются [13, с. 5].

Основываясь на лингвистических воззрениях Бенджамина Уорфа и находясь под влиянием философских идей Людвига Витгенштейна, Нил предлагает свое — связующее язык представителей различных научных школ и их мышление вкуче с восприятием и воспроизведением изучаемой ими социально-экономической действительности — объяснение тому, почему мир предстает таким разным у экономистов различных школ. В его представлении экономисты-ортодоксы трактуют экономическую деятельность преимущественно статично, сводя — явно или неявно — все экономические понятия к существительным (*nouns*). В противоположность им, экономисты — приверженцы в большей или меньшей степени институциональной теории мыслят экономику скорее в терминах процесса, чем объекта, отдавая предпочтение глаголам (*verbs*). Таким образом, естественно языковой образ мышления накладывает свой отпечаток на характер искусственного (в смысле различий в теоретических взглядах на экономику) языкового мышления.

В целом с позицией Нила, что касается философской подоплеки существующей между экономистами-ортодоксами и институцио-

налистами глубокой пропасти, можно согласиться. Правда, за три десятилетия с момента опубликования статьи Нила многое в мире научного сообщества экономистов изменилось: течения стали более специализированными, границы их более размытыми и местами даже переплетающимися, но принципиальное различие между двумя типами восприятия экономической реальности по существу осталось неизменным. К этому добавим, что некоторые авторы объединяют направления экономической мысли, развивающиеся в альтернативном ортодоксальной науке русле, в одну группу под красноречивым названием «Другой канон» [29], другие, не прибегая к этому наименованию, выделяют и описывают два десятка направлений неортодоксальной экономики и социальных наук об экономике [16].

Опыт современной России показывает, что сторонники неолиберального пути развития, как правило, являются (порой даже более рьяными, чем заокеанские советники-ортодоксы) приверженцами неоклассики, в то время как ее критики чаще всего оказываются последователями *inter alia* институциональной теории. Вместе с тем, то, что на поверхности выглядит (и является) идеологическим противостоянием, в глубинной своей основе, возможно, имеет философские корни (о которых реформаторы и (или) их последователи могут и не догадываться). Вообще говоря, диаметрально противоположные точки зрения на развитие — в России не новость, это традиция, имеющая давние, в том числе философские корни. Но проблемы реформирования России — это не только проблемы экономики как науки, но и экономики как хозяйства или наоборот, поскольку все это взаимосвязано и взаимосвязано.

Считаем целесообразным в этой связи обратиться к высказанному неоднократно мнению Д. С. Львова, с сожалением констатирующего наличие сложившегося и уже успевшего укорениться глубокого размежевания граждан в российском обществе: «Приходится признать факт глубокого раскола не только в нашем обществе, но и в самой экономической науке. Даже вещи, которые, казалось бы, не могут являться предметом споров, ... оцениваются совершенно по-разному. Можно подумать, что в России не одна, а две экономики — так неузнаваемы ее портреты, рисуемые разными группами экономистами» [18, с. 38].

В определенном смысле такое (по своей сути — двойственное) отображение российской экономики можно объяснить особенностями

этнического культурного менталитета, который заключается, по мнению Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского, в принципиальной биполярности русской культуры. Особый интерес представляет их мысль о расположении культурных ценностей в двухполюсном поле, разделенном резкой чертой и лишенном нейтральной аксиологической зоны. В этом истоки взрывного характера народа, причины его неумного стремления кидаться из одной крайности в другую, при котором полюсы общественно-ценностных диполей стремительно, по историческим меркам, меняются местами [14, с. 11].

Что касается математического мышления, то под ним можно понимать, вслед за Вейлем, две различные формы рассуждений:

а) особую форму рассуждений математиков по отношению к внешнему, в том числе экономическому, миру;

б) специфичную форму рассуждений математиков в отношении к своей собственной научной области [5, с. 6].

При этом специфически внутренняя форма рассуждений «часто представляет собой искусно составленную смесь конструктивной и аксиоматической процедур» [5, с. 21].

Применительно к экономической науке отметим, что современное экономическое магистральное течение, будучи в сильной зависимости от вполне конкретного математического инструментария, в своем описании экономической деятельности находится в весьма жестких рамках, ограничивающих релевантность для практики предлагаемых его приверженцами теоретических решений и конструктов. В. Л. Макаров [19] называет сложившуюся ситуацию кризисом математической науки (предлагая в качестве альтернативы обращение к компьютерному моделированию так называемых искусственных обществ), а В. М. Полтерович [27] — кризисом экономической науки, имея в виду, по существу, кризис именно магистрального течения экономической науки и предлагая свои ориентиры для выхода за его рамки.

Есть и более радикальные точки зрения: «Многое сказала политэкономия — и много ценного! — да вот не все. <...> Предпочла запутаться в собственных неразрешимых противоречиях, впала в „личный“ кризис, из которого так и не вышла. <...> От философии (мировоззрения), пусть и идеологизированной, к науке (тоже не избегшей идеологизации), а затем, с одной стороны, от науки к ее явной симуляции, а с другой — от становящейся ненужной теории к всюду нужным технологиям. Таким оказался исторический путь экономической науки, на-

чавшейся как политэкономия, бытующей ныне в виде сонма („кластера“) экономических теорий, а заканчивающейся в образе вездесущей „прикладнухи“» [25, с. 111–112].

Почему эти (и, возможно, другие) кризисы стали неотъемлемой частью современного научного ландшафта? В интересующем нас ключе возможен такой ответ: потому что решение реально существующих экономических проблем подменяется решением проблем-субститутов, т. е. таковых, которые могут быть сначала сформулированы на языке доступной исследователю экономической теории, а уж затем решены. Воспринимая мир через призму такого языка, исследователь формулирует и предлагает решение — но уже не существующей вне языкового контекста, а структурированной с неизбежностью языком — проблемы. Если это — язык равновесных систем, то и весь текст — формулировка проблемы и ее решение — будет равновесно системным. Предпочтение одного языка (скажем, неоклассического) другому (скажем, институциональному) может выглядеть как предпочтение одной идеологической установки другой. Все в соответствии с формулой, если прибегнуть к жаргону системных программистов: «Мусор на входе — мусор на выходе» [35].

Применение математики, сколь бы сложной она не была, приближению к реальности — в смысле ее адекватного отражения и формализованного представления — не способствует. Скорее наоборот, изучаемая проблема оказывается под двойным, если так можно выразиться, языковым гнетом — на абстракцию языка экономической науки накладываются не связанные с реальностью средства математического языка, имеющегося в распоряжении исследователя. В результате формула удваивается: «Двойной мусор на входе — двойной мусор на выходе».

Сказанное можно резюмировать следующим образом: природа — не онтологическая, а формально-символическая — отмеченных кризисов науки идентична, и вызвана она применением к изучаемой экономической реальности экономико-математического языка, который — просто в силу того, что его возможности ограничены, или, скажем так, слабо соотносены с действительностью — не в состоянии дать ее адекватное описание. Проще говоря, их природа языковая, и решение — в том числе самого кризиса — следует искать в подборе соответствующего, могущего послужить в качестве релевантного инструмента исследования, научного языка.

Радикальное решение проблемы «двойного гнета языка» предлагают «австрийцы»: вместо поиска соответствующего математического языка они предлагают вообще отказаться от математики как инструмента, абсолютно непригодного для экономического анализа. «Уже в момент зарождения австрийской школы, — напоминает один из ведущих ее последователей Хесус Уэрта де Сото, — ее основатель Карл Менгер считал нужным заявить: преимущество слов над математическими формулами в том, что словами можно выразить сущность (*das Wesen*) экономических явлений, а формулами — нет» [34, с. 41–42].

Радикализм Менгера можно объяснить успешным применением математических методов для описания (непредпринимательского) поведения рациональных агентов и (статических) моделей равновесия — предмета изучения в неоклассической экономике, который резко диссонирует с динамическим и принципиально творческим миром, миром сущностных явлений, изучаемым сторонниками австрийской школы. Но самое главное, это то, что статический подход к изучению динамической ситуации, замаскированной — пусть и с благими намерениями — языковыми средствами под ситуацию-статическую, является грубой подменной реальностью.

Обратимся вновь к противопоставлению существительного и глагола как знаковой, по Нилу, особенности, отличающей неоклассическое понимание экономики от институционального мировосприятия. Суть противопоставления не просто в том, что в одном случае употребляется существительное, а в другом — глагол, но в том, что существительное — в том смысле и контексте, который встречается в неоклассике, — искажает истинную суть дела, являясь выражением статического подхода, синхронизирующего, по словам Ганса Майера, «ситуацию, которая в реальности представляет собой процесс». Иными словами, лингвистическое противопоставление выходит за свои пределы, затрагивает мышление и через него опыт — практическую деятельность, базирующуюся на том или иной теоретическом фундаменте. Но вся беда в том, что «когда мы рассматриваем порождающий процесс „статически“, т. е. как состояние покоя, мы выхолащиваем саму его суть» [45, р. 92].

Ту же самую мысль Уэрта де Сото резюмирует следующим образом: «Использование математики в экономической теории неадекватно потому, что математические формулы синхронно связывают друг с другом разнород-

ные с точки зрения времени и предпринимательского творчества величины» [34, с. 42].

Принципиальную порочность подмены динамичности статичностью по-своему объясняет С. Ю. Глазьев на примере формулы количественной теории денег: $PT = MV$ (где P — цены; T — объем товарной массы; M — объем денежной массы; V — скорость обращения денег). Во-первых, эта формула (на которую молились и молятся российские денежные власти) представляет собой не поддающееся доказательству и верификации тождество, интерпретируемое как аксиома и служащее источником теоретических постулатов в целях выработки практических рекомендаций в отношении макроэкономической политики. Во-вторых, истинность формулы сомнительна, а утверждения с опорой на нее ложны, поскольку она «отражает статичное состояние экономики в абстрактных моделях рыночного равновесия с нереалистичными предпосылками», которые в действительности не соблюдаются. В-третьих, даже если внести в нее зависимости для отражения экономических реалий, «переменные данного тождества могут изменяться независимо друг от друга. В реальности экономика никогда не воспроизводит состояние равновесия; в каждый момент времени она переходит в новое состояние со своими значениями переменных монетаристского тождества» [7, с. 176-177, 181].

Вернемся, однако, к проблеме подбора адекватного языка, которую — и это для нас весьма существенно — не следует рассматривать как языковую в узко лингвистическом смысле проблему, имеющую только внешнее отношение к изучаемому объекту. Язык и описываемый с его помощью объект изучения, будучи, несомненно, автономными сущностями, тем не менее, не являются полностью свободными от перекрестного влияния. Поэтому их уместно рассматривать в комплексе и в более широком контексте, из чего следует, что подбор научного языка не должен сводиться только к поиску собственно языка, пригодного для описания (в общем случае, меняющейся) реальности в рамках старой (неменяющейся) парадигмы, он должен включать также и обновление самой парадигмы *per se*.

Такая смена парадигмы может иметь значение, не меньшее, если не сказать большее, чем выбор языка описания реально существующей экономической проблемы. Так, в условиях «новой» реальности истощения природных ресурсов на Земле, следование «старой» парадигме экономики свободных рынков и конкуренции, основанной на хищническом отношении

к окружающей среде, с неизбежностью приведет глобальную экологическую, а вместе с ней и экономическую систему к краху. При этом «изменения и перераспределение власти» — в соответствии с логикой парадигмы — «столь интенсивны, что разъедают старые общественные институты быстрее, чем может быть установлен новый порядок».

Признаки этого уже заметны: «Страны до сих пор наслаждавшиеся процветанием, сейчас пожирают социальную составляющую своей структуры даже быстрее, чем они уничтожают окружающую среду», и наиболее зримо это проявляется в самих Соединенных Штатах Америки [20, с. 27] — стране с образцовыми порядками открытого доступа. Это в полной мере относится и к странам с порядками ограниченного доступа, но со стремлением приблизиться к стандартам потребления развитых государств: «Если нагрузка на природу, в связи со всем этим — задает, имея в виду попытки некритического заимствования институтов и технологий, резонный вопрос О. С. Сухарев, — высока и только увеличивается, то насколько адекватна стратегия опережающего развития и догоняющего развития?» [31, с. 36]

В этой связи актуализируется проблема смены экономической парадигмы, если и не в плане поиска третьего пути (пути социально-экономического развития на основе гуманизма, обеспечения действенного контроля над природно-ресурсным потенциалом Земли, соблюдения прав и свобод граждан, социальной защиты) [17, с. 11], то хотя бы в плане смягчения последствий насилия над природой. Из заслуживающих внимания предложений по концептуализации новой парадигмы остановимся на той, которая базируется на принципе достаточности. Авторы доктрины, Т. М. Гатауллин и В. И. Малыхин, формулируют ключевой для ее понимания принцип следующим образом: «Человечество должно разумно ограничить свои потребности, научиться производить и потреблять всего лишь достаточное число товаров в достаточном количестве» [6, с. 20].

5. Языковые изменения

Будем проводить различие между языковыми изменениями (*language change*), которые относятся к изменениям (в частности, грамматического строя конкретного языка во времени (а возможно, и в пространстве), и языковыми сдвигами (*language shift*), имеющими отношение к смерти языка (утрате его носителями) и (или) вытеснению одного языка другим.

В современной теоретической лингвистике признается «тот очевидный факт, что язык изменяется и что разные языки связаны друг с другом в различной степени». При этом важно подчеркнуть, что «изменение языка не является простой функцией времени, но определяется общественными и географическими условиями» [15, с. 51]. Последнее обстоятельство имеет существенное значение для разграничения изменений, вызванных сугубо внутриязыковой логикой развития, и изменений, обусловленных внешними по отношению к языку факторами.

Языковые изменения могут со временем разнести один и тот же язык или связанные близким родством языки до такой степени, что в языках-потомках трудно (или почти невозможно) будет узнать их породившего предка. Родственность языков устанавливается с помощью генеалогической классификации. Так, английский и немецкий, к примеру, происходят из одного протогерманского языкового коллектива, в то время как французский и прочие романские языки — из латыни; вместе они входят в одну и ту же индоевропейскую языковую семью. В табл. 2 приведены сведения о близости некоторых европейских языков, из которой видно, что германские языки близки друг к другу, романские также, вместе они плюс греческий, будучи членами индоевропейской семьи, находятся в сильной отдаленности от финского как представителя угро-финской языковой семьи.

В обозначениях табл. 2, чем меньше значение, тем ближе языки: 0 указывает на тождественность языка себе, 126 означает, что наиболее близкими языками являются испанский и португальский, далее идут немецкий и голландский со значением 162, об отдаленности греческого свидетельствуют значения 838, 843, 812 и 833, и замыкает картину финский (1000).

Лингвисты часто используют демонстрацию поля цвета для иллюстрации того, «как одна и та же субстанция может иметь различную форму, налагаемую на нее различными языками» [15, с. 456]. Мысль о том, «что релевантными для языка определениями субстанции цвета» считать избираемые в качестве основных измерений естественными науками «вряд ли всегда нужно», подводит к интересному выводу. Его можно сформулировать следующим образом: «Язык конкретного общества является составной частью его культуры и что лексические разграничения, проводимые каждым языком, обычно отражают важные (с точки зрения этой культуры) свойства объек-

тов, установлений и видов деятельности того общества, в котором функционирует язык» [15, с. 456–457].

Социальные порядки онтологически связаны с социальной реальностью, к сфере которой в числе иных относится и языковая система. Говоря об имманентно динамическом характере языковой системы как принадлежащей к сфере социальной реальности, Тони Лоусон подчеркивает феномен ее существования в постоянном процессе становления: «Языковая система непрерывно воспроизводится и, по меньшей мере, в некоторых ее аспектах, преобразуется» [44, р. 496]. Такие преобразования могут оказаться весьма информативными.

Основная мысль, которую хотелось донести в статье, может быть выражена следующим образом: происходящие на протяжении длительного периода времени системные трансформации языка могут содержать в себе информацию, являющуюся отражением трансформаций социальной реальности. Именно этот рефлекторный аспект и ценен для постижения с помощью анализа языковых изменений внеязыковых изменений.

В интересующем нас плане можно сделать выводы об изменении порядков доступа агентов (принадлежащих к элите либо нет) к экономической деятельности и соответствующих им результатах. Типовая схема изменений: от примитивно-общественного устройства через естественно-государственные (ограниченные) порядки к продвинуто-государственному (открытому) устройству социальной организации.

В языковых изменениях акцент в настоящей статье мы делаем лишь на одной, но ключевой, как нам представляется, стороне языка — характере его структурного типа, или строя как способа выражения грамматических категорий. Так, общеизвестно, что романские языки произошли от латыни, при этом строй этих языков изменился коренным образом: синтетический строй латинского языка трансформировался в аналитический строй современных романских языков. Все остальные языковые характеристики связаны в той или иной мере с этими изменениями, взять хотя бы то, что «латинскому языку присуща расчлененность грамматической информации в именной группе, романским языкам — ее централизация» [4, с. 38]. В табл. 3 приведена классификация языков по их строю (синтетическому или аналитическому).

Понятия языковых типов — синтетического или аналитического — являются относительными: в чистом виде они не встречаются [9].

Таблица 2

Близость языков (x 1000)

Язык	Английский	Французский	Немецкий	Испанский
Датский	407	759	293	750
Голландский	392	756	162	742
Английский	0	764	422	760
Финский	1000	1000	1000	1000
Французский	764	0	756	266
Немецкий	422	764	0	747
Греческий	838	843	812	833
Итальянский	753	197	735	212
Португальский	760	291	753	126
Испанский	760	266	747	0
Шведский	411	756	305	747

Источники: [40, pp.1–132].

Таблица 3

Аналитический и синтетический строй языка

Строй языка	Характеристики	Примеры языков
Синтетический (флективный)	Развитая, грамматически полноценная флексия	Латинский / греческий славянские
Синтетический (агглютинативный)	Наличие словообразовательных швов	Урало-алтайские (особенно, тюркские)
Аналитический (изолирующий)	В идеале: одна морфема — одно слово, в реальности: две (и больше)	Вьетнамский китайский (древний ближе к идеалу)
Аналитический (нефлективный)	Доминирование служебных слов в выражении грамматических категорий	Английский (в большей степени) германские и романские (в меньшей степени)

Составлено автором.

Даже в китайском языке, являющемся классическим изолирующим языком, «существует два способа образования слов: синтетический (посредством специальных морфем) и аналитический (посредством служебных слов)» [8, с. 22].

Несмотря на это (и то, что ныне преобладают слова из двух и более морфем) китайский язык лингвисты относят к изолирующим языкам. Попутно приведем некоторые количественные характеристики слогового (морфемного) состава древнего и современного китайского языка:

— в древнекитайском языке односложные (простые, корневые) слова составляют около 66%, многосложные — около 34%;

— в современном китайском языке это же соотношение составляет 24,6% и 75,4%;

— двухсложные слова составляют около 85% всех сложных слов [8, с. 19].

Как измерить характер языкового строя?

Наиболее известным измерителем на сегодняшний день является показатель, или ин-

декс синтетичности, предложенный — наряду с другими показателями языковой структуры — Дж. Гринбергом. Этот индекс (вместе с иным и, надо признаться, далеко не бесспорным измерителем, служащим для характеристики принадлежности языка к аналитическому типу) приведен в табл. 4.

Из табл. 4 видно, что строй языка менялся. Чем можно объяснить происходящие на протяжении одного-двух тысячелетий изменения в индоевропейских языках — германских и романских — Европы, в которых преимущественно синтетический строй языка трансформировался в (опять-таки преимущественно) языковой аналитический строй?

Одно из объяснений (данных Р. Раском и Я. Гриммом) таково: «...В языке тогда начинают усиливаться аналитические черты, когда по тем или иным причинам падает уровень преемственности при передаче языкового опыта от поколения к поколению. В наибольшей мере преемственность страдает вследствие бурного

Количественные меры аналитичности / синтетичности языка

Измеритель строя языка	Характеристики	Примеры измерений
Индекс синтетичности Один из показателей типологической классификации, предложенный Гринбергом для характеристики меры синтеза языка (сложности слова).	Частное от деления числа морфем M на число слов W . Теоретически низший предел равен 1,00, высшего предела не существует, но на практике выше 3,00 встречается редко. Чем меньше значение показателя синтетичности, тем более аналитическим является язык	Эскимосский — 3,72 Санскрит — 2,59 Англосаксонский — 2,12 Английский — 1,68 Вьетнамский — 1,06 По мере своего развития (от старого к современному) синтетичность английского языка стала уменьшаться, произошел крен в сторону его аналитического строя.
Коэффициент аналитичности (Титов)	Частное от деления доли существительных на долю глаголов в словаре данного языка. Чем меньше коэффициент аналитичности, тем более синтетическим является язык	Латинский — 1,46 Русский — 1,51 Итальянский — 2,58 Французский — 2,60 Испанский — 2,85 Португальский — 2,97 Румынский — 3,62

Источники: [9, с. 60–94; 32, с. 79].

смешения народов и культур, требующего выработки общего для всех языка, предельно простого для его освоения. Формирующийся в таких условиях аналитический строй, в предельном своем проявлении, приближается к «корнеизоляции» [21, с. 29].

На протяжении исторического, насчитывающего, если брать письменную историю (*recorded history*), не менее 15 веков, периода развития английского языка изначально синтетический строй старого английского, тогда еще набора германских языков, постепенно трансформировался в строй аналитический. Специфика аналитического строя характеризуется рядом признаков. Покажем их на примере глаголов:

- 1) аналитическая форма состоит из двух или более отдельно оформленных единиц;
- 2) между членами аналитической формы отсутствует синтаксическая связь;
- 3) вспомогательный глагол обладает максимальной сочетаемостью с другими глаголами;
- 4) вспомогательный глагол полностью лишен лексического значения, передает только грамматическое значение лица или числа;
- 5) вторая часть аналитической формы (инфинитив или причастие) является носителем лексического значения, присущего данной форме;
- 6) обе части в совокупности передают грамматическое значение вида и времени.

Можно также рассмотреть специфику строя на примере существительного: если аналитический строй языка характеризуется в случае

с глаголом минимумом спряжений, то в случае с существительным характеристикой служит минимум склонений. Подчеркнем еще раз относительный характер синтетичности; более того, «поскольку язык может быть и часто бывает сравнительно изолирующим относительно определенных классов слов, подсчеты, которые бы проводились на всех словах языка и которые бы учитывали каждое слово только один раз, могли бы привести к совершенно иным результатам» [15, с. 201].

Для сравнения: по подсчетам, сделанным в 1951 г., индекс синтетичности английского языка составлял 1,62, по подсчетам, сделанным в другое время, в 1953 г., и на другом материале, индекс равнялся 1,68 (как видно из табл. 4). Поскольку время в данном случае с исторической точки зрения одномоментное, то различие в полученных значениях индекса объясняется исключительно подобранным материалом. Тем не менее, это различие в принципе не существенно, так что оба значения в целом передают (сравнительно) аналитический характер строя современного английского языка в высокой степени точности.

6. Неязыковые факторы эволюции социальных порядков

Среди неязыковых институциональных факторов особой значимостью для понимания сути эволюции социальных порядков обладают три фактора — религии, социальной и корпоративной организации.

Фактор религии. Последнее время характеризуется повышенным интересом экономистов к вопросам религии, ее трактовке с позиций экономического образа мышления, к экономическому анализу религии; все это в итоге привело к возникновению отдельного направления в экономической теории — экономике религии (*economics of religion*) [43]. В ней религия рассматривается в качестве рыночного института и рационального конструкта [51], церковь (средневековая христианская) уподобляется экономической фирме [50], грех анализируется с позиций рационального выбора [48] *etc.* В то же время религия и религиозное поведение интересны не только тем, что могут изучаться с позиций экономической науки, они, в свою очередь, сами могут выступать в качестве факторов, определяющих функционирование экономики.

Роль религиозного фактора может иметь для экономики — и, в частности, для понимания эволюции социальных порядков — существенное значение. По мнению некоторых экономистов, одни религии в большей степени (иудаизм — по Вернеру Зомбарту, протестантизм — по Максус Веберу) способствуют экономическому развитию, чем другие; в то же время есть точка зрения — как, например, у английского историка Ричарда Тауни — на снижение значения религии по мере продвижения капитализма [29, с. 288, 366].

Поскольку порядки открытого доступа родились в «естественных» государствах с христианской религией — протестантизмом и католицизмом, в своем анализе значения религиозного фактора от них и будем отталкиваться, дополнив его также и анализом иудаизма как источника христианства, и восточной ветви христианства — православия — как представляющего особый интерес для понимания специфики российской модели социальной организации.

Религия занимает особое место в конструировании социальных порядков, окрашивая их в те или иные тона, определяя специфику, характер и стиль концептуальных рамок социокультурного пространства сообществ. Если в странах Запада, где возникли порядки открытого доступа, отношения человека с миром строились на западно-христианской традиции, то в российской, к примеру, культуре — на восточно-христианской традиции, и это обстоятельство не может быть проигнорировано, если мы хотим понять своеобразие порядков и смысл их различий. При этом российскому негативному, апофатическому пути

познания Бога и мира через серию отрицаний может быть противопоставлен позитивный — через последовательность утверждений — путь западных христиан: «Согласно западной традиции, развитой и углубленной христианством, хотя индивид и реальный материальный и социальный мир противостоят друг другу, их противостояние носит позитивный характер» [2, с. 76].

Подробное рассмотрение религиозных различий может увести нас в сторону. Главное для понимания логики эволюции порядков — это конгруэнтность иудаизма духу порядков открытого доступа, закономерность разрыва Англии и Германии с католицизмом и появление протестантизма как более подходящего для формируемых социальных порядков религиозного мировосприятия. К этому можно добавить наличие определенных параллелей между протестантской этикой и старообрядческой как более совместимой по сравнению с традиционным православием с идеей конкуренции и свободных рынков.

В этом квинтэссенция религиозного — в его конкретном конфессиональном проявлении — фактора, который может и не осознаваться в качестве такового, но который существует и реально влияет на менталитет и устремления различных слоев общества и его социальное, в том числе экономическое, поведение, определяя тем самым вектор развития социальных порядков.

Фактор социальной организации. Общества по своему типу могут быть подразделены на коллективистские и индивидуалистские, свойства которых Авнер Грейф [42] раскрывает с помощью понятия «культурных верований» (*cultural believes*) — «специфического культурного элемента» (*specific cultural element*) и «интегральной части» (*integral part*) институтов, воздействующих на эволюцию социальных порядков. Эти верования представляют собой «идеи и мысли, общие для нескольких индивидов и воздействующие на их взаимодействия друг с другом» [42, р. 915]. Коллективистские общества ассоциируются с развивающимися странами (порядками открытого доступа), индивидуалистские — с развитыми (порядками ограниченного доступа) странами, т. е. Грейф заведомо вносит в свой анализ оценочные суждения, если не сказать — идеологию.

Коллективистские общества характеризуются структурой из социальных групп со встроенными в них индивидами, в которых особая роль принадлежит тесным экономическим связям между внутрigrupповыми агентами,

поддерживаемым с помощью неформальных институтов. Потребность в формальных контрактах отсутствует, поэтому можно экономить — при взаимодействиях внутри групп — на трансакционных издержках. С чужими, однако, т. е. представителями других групп (локальных сообществ), отношения иные, точнее их вовсе нет. Можно сказать, что различные социальные группы огорожены друг от друга, и доступ для чужаков в свои группы закрыт.

Индивидуалистские общества представляют полную противоположность обществам коллективистским. Экономические взаимодействия осуществляются между всеми индивидами вне зависимости от их принадлежности к тому или иному сообществу. Индивиды весьма мобильны, а контракты, как правило, поддерживаются формальными механизмами. Поскольку полагаться на родственные и клановые связи не приходится, опорой для индивидов служат они сами, их личные навыки, знания, умение, инициатива.

С целью выявления исторических истоков формирования того или иного типа социальной организации и факторов ее зависимости от предшествующего пути развития (*path dependence*), Грейф конкретизирует свою модель на двух реально существовавших обществах: в качестве коллективистского выступает сообщество купцов из стран Магриба XI в., а в роли индивидуалистского — генуэзское общество XII в.

Индивидуалистский характер общества (в данном случае генуэзского) в качестве образцового хорошо согласуется с давней либеральной англо-американской традицией политэкономического образа мышления, делающей акцент на индивидуализме и индивидуальных правах. Противостоящая ей «республиканская» школа, восходящая к Макиавелли, акцентирует внимание на сообществе (*community*) и гражданских обязанностях (*obligations of citizenship*) [49, p. 87], и это противостояние двух диаметрально противоположных способов объяснения основ конструирования мироустройства социальных порядков продолжает воспроизводиться и поныне.

Фактор корпоративной организации. Деление организаций или групповых объединений людей на два идеальных типа — общность и общество — в социологии известно давно [12], и его обычно относят к знаменитой работе Фердинанда Тённиса 1887 г. [52]. В чистом виде ни общность (*Gemeinschaft*), ни общество (*Gesellschaft*) на практике не встречаются, но в качестве теоретических конструкторов они мо-

гут быть полезны. Как порядки открытого доступа рождаются из порядков ограниченного доступа, так и общество, как механическая целесообразная конструкция, рождается из недр общности — продолжительной и подлинной формы совместной жизни в семье и народе. В свою очередь, общество само может стать в дальнейшем объектом вырождения.

Общность характеризуется господством социальных связей, основанных на соседстве и родстве и поддерживаемых скорее бессознательно, автоматически, нежели сознательным образом. Основным связующим материалом служит традиция, а подоплекой социальных отношений — мораль. Социальное в общности выступает как целое, предшествующее частям и доминирующее над ними. Функционирование в общности осуществляется по неформальным правилам. Отношения между людьми, как правило, персонифицированные, основанные на длительном социальном контакте или кровном родстве. Экономическую основу отношений в общности составляют в первую очередь ремесло и натуральное семейное хозяйство в земледелии.

Общество характеризуется доминированием социальных отношений, базирующихся на рациональном обмене услугами и вещами. Участники этих отношений поддерживают их сознательно: считается, что бессознательные импульсы мешают рациональному ведению дел, а потому они вредны, и их следует избегать. Необходимость в родстве и (или) соседстве в обществе, в отличие от общности, отсутствует: взаимовыгодные отношения могут существовать между людьми, разделенными огромными расстояниями, религией или системой ценностей, между враждебными друг другу людьми, если эти отношения им выгодны. Основной мотив социального поведения — достижение выгоды, подоплека социальных отношений — рациональность. В обществе социальное как целое занимает подчиненное положение, приоритет принадлежит частям, экономическое объединение которых позволяет прийти к целому. Институциональная структура формальная, отношения между людьми деперсонифицированные, велика роль их статуса. Экономическим фундаментом отношений в обществе выступают в первую очередь торговля и промышленность.

Сделаем небольшой экскурс в историю социальных порядков России. До конца XVII в. в городах и селениях существовал общественный порядок, в основе которого лежала самоуправляющаяся община, являвшаяся общностью.

Перенесенная на городскую почву община-общность эволюционировала в сторону общества. А в начале XX в. этот процесс особенно затронул городское сословие, в то же время почти не коснулся другой многочисленной категории городского населения — рабочих, кадры которых формировались из крестьянства и разорившегося мещанства. Так или иначе, но общинные отношения преобладали среди всех категорий городских рабочих вплоть до 1917 г. Что касается дворянства, то на местах еще до отмены крепостного права оно представляло собой, пользуясь современным языком, гражданское общество в миниатюре. Основанием для такого утверждения является то, что в губернском масштабе имелось независимое от государства сообщество свободных граждан со своей организацией, через которую они были вправе и могли реально влиять на политику правительства. Опыт России показывает, что крестьянская и городская общины эволюционировали в сторону общества, в то время как дворянство и вовсе не знало общины, а было организовано в виде общества [23].

Означает ли это, что общество — следуя прямой логике эволюции социальных порядков — является более передовой формой социальной организации людей, чем община-общность?

Думается, не так все просто. Недостатки общины — традиционализм и замкнутость, сдерживание инициативы и индивидуализма, неспособность обеспечить высокую эффективность труда и непрерывное повышение жизненного уровня — таковыми в ту пору (а возможно, и в пору, которая следует за нынешним затянувшимся безвременьем) не воспринимались. Обратной стороной этих недостатков являются плюсы — возможность налаживания прямых и интенсивных человеческих контактов, не обремененных соображениями пользы и выгоды, гарантия социальной защиты, негативное отношение ко всем видам неравенства, обеспечение минимальными средствами к жизни. Община как социальный институт была вызвана к жизни самой жизнью, представлениями русского народа о правильной и справедливой организации социальной жизни людей, ее соответствием религиозному идеалу человеческих отношений, поддержкой этих идеалов православной церковью. Иными словами, община была глубоко укоренена в ментальности и на практике в социуме, и с возникновением и распространением не общинных, а общественных межличностных отношений эти корни просто так не могли исчезнуть.

Более того, они являются питательной средой для образования социального капитала [12].

Заключение

Институциональные факторы изменений социальных порядков рассматривались в работе с акцентом на языковые изменения и в соответствии последних с первыми. В зависимости от трактовки такого соотношения — прямого соответствия, одностороннего или обоюдостороннего влияния, наличия или отсутствия каузальности и пр. — возможны различные интерпретации эволюции: сильная (и, скорее всего, нереальная или, во всяком случае, недоказуемая, недоказанная) и слабая, призванная привлечь внимание к языковому аспекту или фактору эволюции социальных порядков. Как бы то ни было, но утверждать, что языковые изменения порождают социальные, вряд ли корректно, обратное утверждение, кажущееся более правдоподобным, может быть в то же время рискованным. Отсюда обращение к нейтральному «соотнесению» социальных и языковых изменений; более того, вполне вероятно, что источник изменений находится вне этих сфер, возможно, им является некая третья инстанция, которой еще предстоит быть обнаруженной и идентифицированной.

Но вопросы остаются. Существует ли корреляция между языковыми изменениями и социальными, приведшими в итоге к трансформации естественных государств, или обществ с ограниченным доступом, в порядке открытого доступа? И если да, то где уверенность, что эта корреляция не является ложной? Почему значительная степень аналитического характера румынского языка не укладывается в логику становления порядков открытого доступа? Как увязать изначально (по крайней мере, на протяжении истории, сопоставимой с европейской) аналитический строй китайского языка с (конфуцианскими и коммунистическими, например) порядками ограниченного доступа к политике и экономике, с одной стороны, и бурным экономическим развитием страны — с другой?

В целом основную тенденцию наблюдаемых в письменной истории человечества изменений как языковых, так и неязыковых факторов, имеющих отношение к интерпретации эволюции социальных порядков, в том виде, в каком мы это встречаем у Норта и др., можно сформулировать как движение по логической схеме «от общности к частности»:

— от общности человеческого существования к его частности (эволюция социальных по-

Состояние экономического развития до и после либеральных реформ

Страна	Высокий уровень развития до реформ	Синтетичность языкового строя	Склонность к революциям	Реформы по рецептам неолиберальной доктрины	Спад во время реформ	Высокие темпы роста после реформ
Китай Вьетнам	-	-	-	-	-	+
Россия СНГ	+	+	+	+	+	-

Составлена автором.

рядков в направлении большей открытости по своей сути подобна искусству (из нобелевской лекции Иосифа Бродского: оба они (социальные порядки открытого доступа и искусство) поощряют «в человеке именно его ощущение индивидуальности, уникальности, отдельности — превращая его из общественного животного в личность»);

— от синтетической общности языкового строя к его аналитической частности (эта тенденция наблюдаема главным образом, насколько нам известно, в романо-германском языковом мире письменных источников истории человечества);

— от языческой общности многобожия (через иудейскую традицию или непосредственно) к христианской частности единого (централизованно почитаемого католиками романского мира и децентрализованно — протестантами мира германского, включая англосаксонского) Бога;

— от общности общинной формы организации социума (более свойственной странам восточной традиции, включая Россию) к ее частности в виде организации-общества (доминирующей ныне на Западе формы организации социально-экономической системы);

— от дедуктивной общности гражданского права (*civic law*) (континентальная Европа, включая Россию) к индуктивной частности общего права (*common law*) (англосаксонский мир);

— от сосредоточенной общности абсолютной власти, например в США, к рассредоточенной частности ее разделения между штатами, внутри штатов и между ветвями власти [40, р. 4] и пр.

В завершение хотелось бы предостеречь от искушения механического переноса элементов институционального развития обществ. Здесь уместна языковая аналогия: «Важным вкладом в науку с лингвистической точки зрения было бы более широкое развитие чувства перспективы. У нас больше нет оснований считать несколько сравнительно недавно возникших

диалектов индоевропейской семьи и выработанные на основе их моделей приемы мышления вершиной развития человеческого разума. Точно так же не следует считать причиной широкого распространения этих диалектов в наше время их большую пригодность или нечто подобное, а не исторические явления, которые можно назвать счастливыми только с узкой точки зрения заинтересованных сторон» [33]. Сказанное вполне применимо и к социальным порядкам: нет никаких оснований считать порядки открытого доступа, установившиеся в исторически определенных обстоятельствах в одних странах, обязательными для их копирования другими лишь по той причине, что сторонники открытого доступа убеждены в своей правоте и жаждут выполнения миссии.

Корни этой убежденности — эстетические (эффективные в экономическом смысле порядки открытого доступа оцениваются как «хорошие», соответственно, неэффективные порядки ограниченного доступа — как «плохие»). Поскольку же эстетика имеет свойство порождать этику, то они и этические (открытые порядки несут «добро», ограниченные — «зло»). А раз так, то несение этических идей «добра» — оцениваемых эстетически на «хорошо» порядков открытого доступа — не может не выступать миссией, которая подлежит выполнению даже ценой принудительного насаждения в недоразвитых обществах.

О том, что может дать следование курсу либеральных реформ любой ценой или отказ от него, свидетельствуют некоторые качественные характеристики России и стран постсоветского пространства в сопоставлении с Китаем и Вьетнамом. Весьма симптоматично, что последних двух странах успехи были достигнуты при однопартийном правительстве [4, с. 31], что в корне противоречит типовым рекомендациям либералов (табл. 5).

Основной вывод, который следует (в том числе из табл. 5), заключается в необходимости учета специфики страны — объекта институциональных преобразований, трансформации

социальных порядков. Это должно стать императивом, неременным условием развертывания процесса любого реформирования, если, конечно, под ним понимать процесс институционального развития, а не институционализацию процесса ликвидации выбранных в качестве жертвы тех или иных социальных порядков.

Список источников

1. Алисова Т. Б., Репина Т. А., Таривердиева М. А. Введение в романскую филологию : учебник. — М.: Высш. школа, 1982. — 343 с.
2. Аргунова В. Н., Тяпков С. Н. Анализ социокультурных аспектов функционирования инновационной среды региона // Инновационное развитие региона. Потенциал, институты, механизмы. — Иваново: Иван. гос. ун-т, 2011. — 200 с.
3. Бюлер К. Теория языка. Репрезентативная функция языка. — М.: Прогресс, 2000. — 501 с.
4. В тени насилия. Уроки для обществ с ограниченным доступом к политической и экономической деятельности / Д. Норт и др. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. — 48 с.
5. Вейль Г. Математическое мышление. — М.: Наука, 1989. — 400 с.
6. Гатауллин Т. М., Малыхин В. И. Экономическая теория и принцип достаточности. — М.: ГУУ, 2010. — 143 с.
7. Глазьев С. Ю. Уроки очередной российской революции: крах либеральной утопии и шанс на «экономическое чудо». — М.: Издательский дом «Экономическая газета», 2011. — 576 с.
8. Горелов В. И. Теоретическая грамматика китайского языка. — М.: Просвещение, 1989. 280 с.
9. Гринберг Дж. Квантитативный подход к морфологической типологии языков // Новое в лингвистике. Вып. 3. — М.: Наука, 1963. — 569 с.
10. Деррида Ж. О грамматологии. — М.: Ad Marginem, 2000. — 512 с.
11. Ерзнкян Б. Кэйрэцу как эзотерическое слово // Знакомьтесь — Япония. — 1998. — № 21.
12. Ерзнкян Б. А. Проблемы институциональной модернизации российской корпоративной системы // Теория и практика институциональных преобразований в России. Сборник научных трудов / Под ред. Б. А. Ерзнкяна. — Вып. 7. — М.: ЦЭМИ РАН, 2006. — 160 с.
13. Ефимов В. М. Об интерпретативной институциональной экономике. Научный доклад. — М.: ИЭ РАН, 2007. — 74 с.
14. Клейнер Г. Б. Политика социально-экономической стабилизации. Условия, содержание, институты. Вместо предисловия // Пути стабилизации экономики России / Под ред. Г. Б. Клейнера. — М.: Информэлектро, 1999. — 188 с.
15. Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. — М.: Прогресс, 1978. — 544 с.
16. Либман А. М. Экономическая теория и социальные науки об экономике: некоторые направления развития. — М.: Институт экономики РАН, 2007. — 52 с.
17. Львов Д. С. Предисловие к русскому изданию // Мартин Г.-П., Шуманн Х. Западная глобализация. Атака на процветание и демократию. — М.: Альпина, 2001. — 163 с.
18. Львов Д. С. Миссия России. Гражданский манифест. — М.: Институт экономических стратегий, 2006. — 56 с.
19. Макаров В. Л. Искусственные общества и будущее общественных наук. — СПб.: Изд-во СПбГУП, 2009. — 30 с.
20. Мартин Г.-П., Шуманн Х. Западная глобализация. Атака на процветание и демократию. — М.: Альпина, 2001. — 163 с.
21. Мельников Г. П. Системная типология языков. Синтез морфологической классификации языков со стадийной: курс лекций. — М.: Изд-во РУДН, 2000. — 78 с.
22. Мизес Л. фон. Теория и практика. Интерпретация социально-экономической эволюции. — М.: Юнити-Дана, 2001. — 295 с.
23. Миронов Б. Н. Главные социальные организации крестьянства, городского сословия и дворянства // Acta slavica iaponica. — 1998. — No.16.
24. Норт Д., Уоллис Дж., Вайнгаст Б. М. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. — М.: Изд. Института Гайдара, 2011. — 480 с.
25. Осипов Ю. М. Магия политэкономии и магизм политэкономов // Economics and Economy. — 2013. — Vol. 1. — No. 1.
26. Плунгян В. А. Почему языки такие разные. — М.: АСТ-Пресс Книга, 2012. — 267 с.
27. Полтерович В. М. Кризис экономической теории // Экономическая наука современной России. — 1998. — № 1. — С. 41-66.
28. Поппер К. Знание и психофизическая проблема. В защиту взаимодействия. — М.: Изд-во ЛКИ, 2008. — 256 с.
29. Райнерт Э. С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными. — М.: Изд. дом Гос. ун-та — Высшая школа экономики, 2011. — 384 с.
30. Слобин Д., Грин Дж. Психоллингвистика. — М.: Прогресс, 1976. — 351 с.
31. Сухарев О. С. Экономический рост, благосостояние и институциональные изменения // Журнал институциональных исследований. — 2011. — Т. 3. — № 3.

32. *Титов В. Т.* Квантитативная характеристика частей речи в романских языках. Ч. I // Вестник ВГУ. — 2001. — № 2. — (1. Гуманитарные науки).
33. *Уорф Б. Л.* Наука и языкознание // Новое в лингвистике. — Вып. 1. — М.: Изд-во иностранной литературы, 1960. — 463 с.
34. *Уэрта де Сото Х.* Социально-экономическая теория динамической эффективности. — Челябинск: Социум, 2011. — 409 с.
35. *Фоули Д.* Математический формализм и политэкономическое содержание // Вопросы экономики. — 2012. — № 7. — С. 82-95.
36. *Фукуяма Ф.* Великий разрыв. — М.: АСТ: АСТ Москва, 2008. — 474 с.
37. *Фуроботн Э. Г., Рихтер Р.* Институты и экономическая теория: Достижения новой институциональной экономической теории. — СПб.: Издат. дом Санкт-Петерб. гос. ун-та, 2005. — 702 с.
38. *Хейне П.* Экономический образ мышления. М.: Изд-во «Дело» при участии Изд-ва «Catallaxy», 1993. 704 с.
39. *Хомский Н.* Прибыль на людях. — М.: Праксис, 2002. — 256 с.
40. *Bailyn B.* To Begin the World Anew: The Genius and Ambiguities of the American Founders. New York: Vintage Books. 2004. 208 pp.
41. *Dyen I., Kruskal J. B., Black P.* An Indo-European Classification: A Lexicostatistical Experiment // Transactions of the American Philosophical Society. — 1992. — Vol. 82. — No.5.
42. *Greif A.* Cultural Beliefs and the Organization of Society: A Historical and Theoretical Reflection on Collectivist and Individualist Societies // The Journal of Political Economy. — 1994. — Vol. — 102. — No. 5.
43. *Kumar V.* A Critical Review of Economic Analyses of Religion // IGIDR Working Papers Series WP-2008-023. — 2008. — 158 pp.
44. *Lawson T.* The Nature of Heterodox Economics // Cambridge Journal of Economics. — 2005. — Vol. 30. — No. 4.
45. *Mayer H.* The Cognitive Value of Functional Theories of Price: Critical and Positive Investigations Concerning the Price Problem // Classics of Austrian Economics. A Sampling in the History of a Tradition. Israel M. Kirzner (ed.). — London: William Pickering, 1994. — 1100 pp.
46. *Neale W. C.* Language and Economics // Journal of Economic Issues. — 1982. Vol. — 16. No. 2.
47. *North D.* Understanding the Process of Economic Change. Princeton: Princeton University Press, 2005. — 187 pp.
48. *Ortona G.* Why Most (but not all) Churches Hate Sex // Evolutionary and Institutional Economics Review. — 2007. — Vol. 3. — No. 2.
49. *Putnam R. D.* Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy. — Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1993. — 276 pp.
50. Sacred Trust. The Medieval Church as an Economic Firm // R. B. Jr. Ekelund et al. — New York: Oxford University Press, 1996. — 224 pp.
51. The Marketplace of Christianity // R. B. Jr. Ekelund, R. F. Hebert, R. D. Tollison. Cambridge, MA: MIT Press, 2006. — 355 pp.
52. *Tonnies F.* Community and Society / Tr. and ed. by Ch. P. Loomis. — East Lansing: Michigan State Univ. Press, 1957. — 298 pp.

УДК 330.341.2:316.44

Ключевые слова: институциональное развитие, языковые факторы, неязыковые факторы, социальные порядки, эволюция, порядки ограниченного доступа, порядки открытого доступа